

Кэндзабуро Оэ

б и б л и о т е к а



к л а с с и к и

Кэндзабуро Оэ

大江 健三郎



Футбол 1860 года
Объяли меня воды
до души моей...



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.521-31
ББК 84(5Япо)-44
О-97

Серия «Библиотека классики»

Kenzaburo Oe
MANEN GANNEN NO FUTTOBORU
KOZUI WA WAGA TAMASHII NI OYOBI

Перевод с японского *В. Гривнина*

Серийное оформление и дизайн обложки *В. Воронина*

Печатается с разрешения Kenzaburo Oe Estate
и The Wylie Agency (UK) Ltd.

Оэ, Кэндзабуро.

О-97 Футбол 1860 года. Объяли меня воды до души моей... : [романы] / Кэндзабуро Оэ ; [перевод с японского В. Гривнина]. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 736 с. — (Библиотека классики).

ISBN 978-5-17-175132-6

Вышедший в 1967 году «Футбол 1860 года» мгновенно стал национальным бестселлером: в течение одного года он выдержал 11 переизданий, а затем принес своему создателю престижную премию Дзюньитиро Танидзаки.

Роман повествует о жизни двух братьев, которые волею судеб возвращаются в родную деревню в поисках истинного смысла жизни и собственного «я»...

Вышедшая в 1973 году притча-антиутопия «Объяли меня воды до души моей...», название которой позаимствовано из библейской Книги пророка Ионы, считается главным произведением Нобелевского лауреата по литературе Кэндзабуро Оэ.

В один прекрасный день Ооки Исана, личный секретарь известного политика, решает стать затворником. Объявив себя поверенным деревьев и китов — самых любимых своих созданий на свете, — он забирает у жены пятилетнего сына и поселяется в частном бомбоубежище на склоне холма...

УДК 821.521-31
ББК 84(5Япо)-44

© Kenzaburo Oe, 1967, 1973
© Перевод. В. Гривнин, наследники, 2024
© Издание на русском языке AST Publishers, 2025



Футбол 1860 года



Глава 1

ВЕДОМЫЕ МЕРТВЕЦОМ

Пробуждаясь в предрассветной мгле, я пытаюсь отыскать в себе жгучее чувство надежды, но обнаруживаю лишь горький осадок сна. Мои лихорадочные поиски, подвижные мыслью, что чувство надежды, такое же жгучее, как и опалившее внутренности виски, снова вернется ко мне, всякий раз оказываются тщетными. Я сжимаю обессилевшие пальцы. Каждый мускул, каждая косточка кажутся непомерно тяжелыми, но с приближением рассвета это ощущение неохотно покидает меня, уступая место острой боли. И я с покорностью снова обретаю свое отяжелевшее тело, испытывающее острую боль в каждой частице в отдельности, не ощущающее, что эти частицы как-то связаны между собой. И, настойчиво избегая воспоминаний о том, что это за поза и отчего я принял ее, скрючившись, засыпаю.

Каждый раз, просыпаясь, я снова и снова стараюсь обрести жгучее чувство надежды. Не ощущение утраты, а жгучее чувство надежды, позитивное, существующее само по себе. Убежденный, что мне не удастся его обнаружить, я пытаюсь вновь толкнуть себя в пропасть сна: спи, спи, мир не существует.

Но в это утро боль во всем теле, словно от страшного яда, не дает окунуться в сон. Рвется наружу страх. До восхода, пожалуй, еще не меньше часа. И до тех пор не узнаешь, какой сегодня будет день. Точно зародыш

в утробе матери, я лежу в темноте, не представляя, что происходит вокруг. Раньше в такие минуты можно было предаться дурной привычке. Но сейчас, когда тебе двадцать семь лет, ты женат и даже имеешь ребенка, который находится в клинике для умственно отсталых детей, вскипает стыд, стоит представить себя занимающимся рукоблудием, и я убиваю это еще не успевшее родиться желание. Спи, спи, а если не можешь, то хоть притворись спящим. Неожиданно из тьмы в моем воображении всплывает прямоугольная выгребная яма, которую вчера вырыли рабочие. В больном теле скапливается разрушительный горький яд и медленно, точно паста из тюбика, начинает сочиться из ушей, глаз, носа, рта...

В полусне я встаю и, поминутно останавливаясь, плетусь в кромешной тьме. Глаза закрыты, и я, беспрерывно натываясь то на дверь, то на стену, то на мебель, точно в бреду, издаю жалобные стоны. Правый глаз все равно ничего не видит, сколько ни напрягайся, даже в ясный день. Смогу ли я когда-нибудь постичь скрытый смысл обстоятельств, при которых я потерял правый глаз? Это был нелепейший случай. Однажды утром, когда я шел по улице, разбушевавшиеся школьники с воплями бросались камнями. Мне угодили в глаз, я упал на мостовую, так и не успев понять, что произошло. Правый глаз — и белок и зрачок — оказался рассеченным и перестал видеть. Мне и сейчас кажется, что я не до конца понимаю истинный смысл происшедшего. Может быть, я просто боюсь понять его.

Если идешь, прикрыв ладонью правый глаз, то обязательно натыкаешься на предметы, поджидающие тебя справа, и ударяешься о них. Естественно, что на правой половине моей головы появлялись все новые и новые ссадины. Я уродлив. Это постоянно внушала мне мать еще до того, как я ослеп на один глаз. Предсказывая, каким уродом я вырасту, она всегда сравнивала меня с младшим братом, обещавшим превратиться в красавца.

Так что постепенно я свыкся с мыслью о своем уродстве. А вытекший глаз усугубляет и постоянно подчеркивает его. Врожденное уродство старается укрыться в тень и помалкивать. И вытекший глаз виноват в том, что я вытаскиваю его на свет божий. Я придумал занятие для погруженного во тьму глаза. Глаз, потерявший способность видеть то, что меня окружает, я превратил в глаз, широко открытый во тьму черепной коробки. И этим глазом я всегда пристально вглядываюсь в наполненную кровью горячую тьму — жарче температуры моего тела. Я сам назначил себя в разведку, чтобы, вглядываясь в ночной лес во мне, приучиться следить за происходящим внутри меня.

Пройдя столовую и кухню, я нащупываю дверь, распахиваю ее и только тогда открываю глаза — в предрасветной осенней дымке белеют лишь далекие горы. Подбегает черная собака и начинает ластиться ко мне. Но сразу же, уловив мой запрет, так и не залавав, съезживается и смотрит на меня, выставив из темноты мордочку, похожую на гриб. Я подхватываю ее под мышку и медленно иду вперед. От собаки пахнет. Она прерывисто дышит. Под мышкой становится жарко. Может быть, собака больна? Босой палец натывается на доску, ограждающую яму. Тогда я спускаю собаку на землю, рукой нащупываю лестницу, а потом обнимаю тьму в том месте, куда опустил собаку, — тьма оказывается наполненной ею. Невольно улыбаюсь, но улыбка мимолетна. Собака действительно больна. С трудом спускаюсь по лестнице. В лужицах на дне ямы стоит вода — ее так мало, что она не закрывает и ступни босых ног. Кажется, что яма сочится влагой. Как мясо соком. Я сажусь прямо на землю и чувствую, как вода, просочившись сквозь пижамные штаны и трусы, мочит зад, и я вдруг обнаруживаю, что принимаю это с покорностью, как человек, который не в силах ничему противиться. Но собака, естественно, может противиться тому, чтобы сидеть в воде. Собака молча, но с таким видом, будто собирается что-то сказать,

примащивается у меня на коленях и слегка прижимается ко мне жарким, дрожащим телом. Чтобы сохранить равновесие, она когтями, превратившимися в крючки, вонзается в мои колени. Я чувствую, что не в силах противиться этой боли, а через пять минут вообще становлюсь равнодушен к ней. Становлюсь равнодушен и к воде, намочившей зад. Я ощущаю свое тело — высотой в сто семьдесят два сантиметра и весом в семьдесят килограммов — как тяжесть земли, которую рабочие выкопали вчера там, где я сейчас сижу, и сбросили в реку. Мое тело сливается с землей. Среди всего: и моего тела, и окружающей меня земли, и сырого воздуха — живут только тепло собаки и ее ноздри, напоминающие двух блестящих жучков.

Ноздри двигаются с поразительной энергией и вбирают в себя исходящий от ямы убогий запах, точно это сказочный аромат. И потому, что возможности ноздрей до конца исчерпаны, собака уже не в состоянии различить каждый из бесчисленного множества поглощаемых запахов, а после того как я, почти лишившись чувств, прислоняюсь затылком (мне кажется, прямо черепной коробкой) к стене ямы, ей не остается ничего другого, как вдыхать тысячи запахов и ничтожное количество кислорода.

Разрушительный горький яд заливает все тело, и не похоже, что он просочится наружу. Жгучее чувство надежды не приходит, но страх покидает меня. Я становлюсь безразличным ко всему и вот сейчас безразличен даже к тому, что я обладаю плотью и кровью. Жаль только, что меня, совершенно безразличного к самому себе, не видят чьи-либо глаза. Собачьи? У собаки нет глаз. У меня, безразличного, тоже нет глаз. Как только я спустился по лестнице, сразу же закрыл глаза и сейчас сижу, не открывая их...

Потом мне привиделся товарищ, на кремации которого я присутствовал. В конце лета он выкрасил в красный цвет голову, разделся догола и повесился. Его жена,

которая после ночной попойки, как больной заяц, еле приползла домой, обнаружила странный труп мужа. Почему же он не пошел на вечеринку вместе с ней? Это ни у кого не вызвало сомнений. Все знали: не пошел, чтобы остаться в своем кабинете и поработать над переводом (этот перевод мы делали вместе).

Жена товарища, точно прокрутили назад киноленту, топчя никому не видимые ночные тени, единым духом промчалась оттуда, где стояла, в двух метрах от трупа, до того места, где была вечеринка, — от ужаса волосы у нее встали дыбом, она бежала, размахивая руками, беззвучно крича, зеленые туфли все время сваливались у нее с ног, и даже после того, как сообщили в полицию, она все продолжала всхлипывать, пока ее не увели родители. Едва полиция закончила расследование, все заботы о похоронах пали на меня и бабушку покойного, оказавшуюся женщиной мужественной. Рассчитывать на его мать, страдавшую слабоумием, не приходилось. Когда я попытался смыть краску, труп, точно проявляя своеволие, неожиданно воспротивился. Мы с бабушкой, избегая соболезнований, никого к нему не пускали и ночь провели втроем с покойным, бесчисленное множество клеток которого, так недавно составляющих его индивидуальность, непрерывно, стремительно и незримо разрушалось. Расползающиеся, безвозвратно теряющие форму розоватые клетки сдерживала, точно плотина, ссыхающаяся кожа. Этот человек, ставший теперь трупом с красной головой, жил, как это ни горько, будто протискиваясь изо всех сил сквозь узкую дренажную трубу, и сейчас, когда уже почти пробрался сквозь нее, выглядевший гораздо собраннее, до ужаса реальнее в своем существовании, чем за все двадцать семь лет пришедшей к концу жизни, лежал на простой солдатской койке и надменно разлагался. Плотина из кожи вот-вот прорвется. Забродившие клетки гонят, точно спирт, вполне конкретную смерть тела. И оставшимся в живых положено испытать это. Меня

влекут таинственные минуты, которые рождает тело товарища вместе с пахнущими лилией гнилостными бактериями. Глядя на чистую сферу времени, когда труп товарища, пока он существует, непрерывно совершает свой единственный полет, я убедился в непрочности еще одного, иного времени, способного повторяться, мягкого и теплого, как темя младенца.

Мне трудно преодолеть зависть. Когда я навеки сомкну глаза, товарищ не увидит, как мое тело будет разлагаться, и не сможет постичь истинный смысл происходящего.

— Надо было уговорить его вернуться в санаторий.

— Нет, он больше не мог туда поехать, — возразила бабка. — В санатории он себя вел прекрасно, все больные так уважали его. И тем не менее он уже не мог оставаться там. Вы просто забыли об этом и теперь совершенно напрасно упрекаете себя. Что ни делается, все к лучшему — это ведь действительно очень хорошо, что, выйдя оттуда, он смог хоть немного пожить на свободе. Если бы он там покончил с собой, то ему, наверное, не удалось бы повеситься, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола. Больные, так уважавшие его, определенно бы помешали.

— Ваша выдержка помогает сохранять присутствие духа.

— Все умрут. И через сто лет уже никто не будет докапываться, как умер тот или иной человек. Что может быть лучше, чем умереть так, как тебе хотелось.

Сидевшая на краю кровати мать не переставая гладила его ноги. Эта женщина, похожая на испуганную черепаху, сидела, глубоко втянув голову в плечи, и никак не реагировала на наш разговор. Мелкие черты плоского, безжизненного лица, до жути похожего на лицо покойного сына, расплылись, точно растаявшее желе. Давно уже я не видел лица, которое бы с такой силой выражало беспредельное отчаяние.

— Совсем как Сарудахико, — ни с того ни с сего сказала бабка.

«Сарудахико» — это слово, почему-то звучавшее для меня как народная шутка, вдруг наполнилось каким-то смыслом, хоть и смутным, но серое вещество у меня в голове от перенапряжения застыло, тихо дрожало, и эта дрожь, разрастаясь, не давала ухватиться за кончик раскручивающейся нити смысла. Я вертел головой, и слово «Сарудахико», смысл которого так и остался нераскрытым, точно гиря, погрузилось тогда в недра памяти.

Вот и сейчас, когда я, обняв собаку, сижу на дне ямы, в которой скопилось немного воды, у меня в голове, как дорогая сердцу добыча из золотой жилы памяти, всплыло слово «Сарудахико». Серое вещество, застывшее с того дня и не воспринимавшее ничего, что было связано с этим словом, растаяло. Сарудахико, бог Сарудахико встречал на небесном перекрестке богов, сходящих с неба. Богиня Амэ-но-удзумэ, которая как их представитель вела дипломатические переговоры с Сарудахико, собрав обитателей моря, аборигенов вновь созданного мира, попыталась установить свое господство и ножом разверзала рты, «эти немые рты» сопротивляющихся молчанием трепангов. Наш добросердечный Сарудахико двадцатого века, выкрасивший голову в красный цвет, был скорее подобен трепангу, у которого разверзли рот. Стоило мне представить это, как на глаза навернулись слезы, потекли со щек на губы и упали на спину собаки.

За год до смерти товарищ прервал свои занятия в Колумбийском университете, вернулся на родину и тут же попал в санаторий из-за легкого психического расстройства. О местонахождении санатория и о жизни там я знал только с его собственных слов. Ни жена, ни мать, ни бабка ни разу у него не были. Он запретил навещать его. И, судя по тому, что произошло, начинаешь сомневаться, находился ли он в санатории.

Но если верить его словам, этот санаторий называют Учебным центром веселья или Тренировочным залом улыбок: те, кто там содержится, перед едой принимают огромные дозы успокоительного и поэтому днем и ночью пребывают в покое, лучезарно улыбаясь. Санаторий расположен в одноэтажном доме, половину которого занимает солярий. День почти все больные проводят на качелях, во множестве сооруженных в большом саду, и беседуют. Строго говоря, они даже и не больные, а, если можно так выразиться, отдыхающие, прибывшие на длительный срок. Благодаря успокоительному отдыхающие превращаются в самых тихих на свете существ наподобие домашних животных и проводят время в солярии или в саду, обмениваясь спокойными улыбками. Им разрешено выходить за пределы санатория, никто не чувствует себя под надзором, и поэтому никто оттуда не убегает.

Когда товарищ, пробыв неделю в Учебном центре веселья, вернулся, чтобы взять новые книги и переодеться, он рассказал, что приспособился к жизни в этом необычном месте гораздо быстрее и легче, чем любой из тихо улыбающихся больных, попавших туда до него. Но когда через три недели он снова приехал в Токио, хоть на его лице по-прежнему блуждала улыбка, он был печален. Вот что он откровенно рассказывал жене и мне. Санитар, раздающий больным успокоительное и еду, человек грубый и нередко проявляет жестокость к незащитным больным, которые, приняв успокоительное, ни на что не реагируют. А этот санитар, проходя мимо, без всякого повода бьет их по животу.

Я предложил выразить протест руководству центра, но товарищ сказал, что директор, видимо, убежден, что мы либо врем от скуки, либо страдаем обычной манией преследования, а может быть, и то и другое. И это верно — во всяком случае, на побережье, где находится санаторий, не найти людей, скучающих больше, чем мы, ну и, кроме

того, ведь все мы в той или иной степени душевнобольные. А тут еще успокоительное — мне и самому показалось, что я потерял способность раздражаться.

Дня через два после возвращения товарищ не выпил успокоительного во время завтрака, дневную и вечернюю порции тоже вылил в унитаз. На следующее утро он почувствовал, что по-настоящему зол, и тогда, подкараулив грубого санитаря — товарищу, видно, тоже немало от него доставалось, — едва не убил его. Этим он снискал глубокое уважение тихо улыбающихся больных, но сам после разговора с директором вынужден был покинуть санаторий. Когда он, пожимая руки провожавшим его душевнобольным, которые, как обычно, до глупости добродушно улыбались, уезжал из Учебного центра веселья, он ощутил глубокую грусть, как никогда прежде.

«Я испытывал печаль, как Генри Миллер, который говорил (правда, я до сих пор не уверен, что это действительно слова Генри Миллера): „Я тоже пытался улыбаться вместе со всеми, но не мог. Я был безмерно печален, за всю свою жизнь я никогда не был так печален“. И это не просто слова. С тех пор меня восхищают и другие слова того же Миллера: „Разве не пребывают в радужном настроении, лишь когда все безразлично?..“»

С того момента, как товарищ покинул Учебный центр веселья, и до того, как он повесился голым, выкрасив голову в красный цвет, слова Миллера и в самом деле преследовали его. «Разве не пребывают в радужном настроении, лишь когда все безразлично?!» Свои последние слишком быстро пролетевшие годы товарищ пребывал именно в радужном настроении. У него появились патологические сексуальные наклонности — бросился даже в такое безумство. Я об этом вспомнил в разговоре с женой, когда, обессиленный и опустошенный, после похорон возвратился домой. Жена, дожидаясь меня, в одиночестве тянула виски. В тот день я впервые увидел ее пьяной.